

Утром — их первое свидание; неизменный звонок и подробнейший рассказ, кто чем будет занят весь день. Вечером дозвониться до них вообще невозможно, бесконечной морзянкой звучат по их телефонам короткие гудки: занято.

«Невелик срок нашего знакомства, — писал Володя в редакцию, — которое с точки зрения здоровых людей трудно и назвать знакомством. Живем в пяти минутах ходьбы друг от друга, а общаемся только по телефону. Никогда не видели друг друга — так обделила нас судьба. А меня, кроме того, и вообще — возможности видеть. Однако стали мы за это короткое время практически одним целым. Правда, раздробленным надвое безжалостной болезнью...»

...О Тамаре можно было бы сказать — цветущая женщина: яркая, чернбровая, ясноглазая. Уютно сидит за столом, ласково и лукаво улыбается навстречу гостям всем своим милым округлым лицом, левой рукой подпирает, словно в задумчивости, щеку, правой то и дело снимает телефонную трубку или делает быстрые пометки в блокноте — она журналистка.

Это если не знать, что тело ее полностью неподвижно, работают только кисти рук, и голову она подпирает просто держать: мышцы не работают. И что вот так, на этом диване и за этим столом она сидит неподвижно уже двадцать лет: утром приходит соседка и усаживает ее, ночью та же соседка укладывает ее в постель. «На какой бок положить — на том утром и найдут», — бодро объясняет Тамара. Она вообще себя то и дело выслушивает, относясь к своему телу как бы со стороны, как к чему-то докучливому, нелепому — до глупости. Когда ее иногда вывозят в санаторий и перетаскивают на руках в машину (сама она даже в коляску перетаскивать не может), то она подбрасывает провожатых: «Да чего вы церемонитесь! Толкайте смелее куль этот». Приезжает вся в синяках, но — терпит. Очень ей досадно на тело свое, что с ним людям столько мороки. Будто ей самой это вообще плевое дело — сидеть двадцать лет в четырех стенах на одном месте, не имея возможности ни пошевелиться, ни кружку с другого конца стола достать.

Школу она кончала, считай, самостоятельно: в интернате после восьмого класса ей сказали: зачем тебе дальше учиться? Ни ходить, ни работать все равно не будешь. Болезнь ее называется миопатия. Училась дома по учебникам: задавала самой себе задачи, выискивала по таблицам небесные созвездия. Сдала экзамены за десятилетку. А дальше чем заниматься? «Ладно, перо меня выручило». Стала посылать рассказы на радио — вскоре прислали удостоверение юнкора за сочинение «Самый счастливый день в моей жизни».

Ее послушать — так эта ее жизнь с бесконечной чередой больниц, вспышками отчаяния и гаснущей надеждой непостижимым образом прямо-таки полна счастливых дней, какой-то естественной, будто даром дающей радость. Особенно странной сейчас, когда и у нас-то, здоровых людей, все больше — мрак, уныние, упадок духа.

Из записей Тамары: «Из окна у меня удивительный вид: горы, лес, поля, река Кинель. Кажется, у Пришвина я вычитала фразу: природа была такая давняя, что

из окошка вволю можно было нагуляться. Будто о моем окне.

Вот и гуляю. Даже в дождь. Мне почти не хватает времени: то звонит телефон, то приходят гости. Но даже если я целый день одна, то это ведь все равно не останавливает жизнь, я все равно ощущаю ее неукротимый бег. Есть радио, телевизор — наконец, есть я. А самой с собой мне никогда не бывает скучно.

Это ведь только кажется, что ты для себя не подходящий собеседник. Совсем наоборот — ибо над собой можно и подтрунить, и посмеяться. Пожалеть себя тоже. А как хорошо думается под уютный перестук старинных часов!»

«Светлый дар», — скажет мне о ней потом Володя. Имея

каждый бугорок на теплой ладони. Ему многого не надо — он ведь и по голосу уже всю ее знал. Скажете, невозможно? Да просто нам такая зрячьсть и не снилась.

— Знаешь, она мне кажется совсем девчонкой, лет пятнадцати, — ласково улыбается Володя (ему — 42, ей — 37). — Непосредственная, радостная. Ей защита нужна. И в это ожесточившееся время у меня хватит тепла на двоих...

Володя считает, что ему больше повезло: с трудом, но сам передвигается по квартире. Сам может себя причесать, побрить — соорудил для своих негнущихся рук специальные приспособления: расческа и бритва, закрепленные на палочках с подвижными шарнирами. «Мне бы с толковым инженером по энерго-

да пошлют — только здоровыми?»

К разговорам Володи о Боге Тамара относится с почти полным уважением, как к чему-то очень умному и ей недоступному. Сама же в простоте своей душевной верит в человека. Обычного, не героического. Со смущением показывала письмо из музея Островского, где таких, как она, называют корчагинцами, героями... «Почему-то у нас принято считать, что раз больной человек чем-то живет, то ему помог только Островский. А мне, по-моему, просто люди помогли».

— Островский мог бы больше дать, если бы это была просто исповедь человека, не навязываемая школьным курсом. Но его затаскали, и получился очередной стереотип, — считает Володя. — Я боюсь,

наше общество, в отличие от капитализма, не умеет опираться на личный, материальный интерес человека, его эгоизм, вынужден признать, что сам почему-то двадцать лет работал дома слесарем на каком-то другом интересе. Назвал его интересом «поддержания совести на должном уровне». Тоже, что ли, стыдится ему теперь этого?

Комната его до отказа заполнена техникой — сам всплывающую чинит знакомым аппаратом, каждый день выходит на своей радиостанции в эфир. «Вовка, ты опять сегодня по всей стране шлялся?» — весело врывается голос Тамары в потрескивания радиосигналов. Или, узнав, что я вабыла у него сумка, тут же азартно накручивает диск: «Вовка, а ну беги сумку принеси!» Оба хохочут.

Телевизор они смотрят тоже вместе. У Володи он особый — без экрана, только звук. А она, глядя на свой экран, комментирует ему, что там происходит. Когда же ее укладывают и она лежит в тишине без движения в темной комнате, то в эти полупрозрачные часы он становится ее слухом: подключил к их телефонной связи радио и свой телевизор. Опять слушают вместе. Бывает, Тамара задремлет — и он бережно держит на весу трубку и час, и другой, слушая ее дыхание. Трубку не кладет, чтобы ее не потревожили короткие гудки. Ждет, пока она сама проснется, чтобы пожелать доброй ночи.

— Мы с ним оба — обречены, — спокойно говорит Тамара. — И он, и я ходим по краю пропасти.

У обоих — старенькие мамы, которые и сейчас уже еле передвигаются по квартире, не выходя на улицу, могут лишь еду приготовить. Дважды в неделю приходит женщина от соседа, приносит продукты (инвалидский паек), убирает квартиру. Мамы — не вечны. Знают, впереди — дом инвалидов, где будут они в полной беспомощности?

— Как бы зацепиться нам, чтоб не загреметь в эти каменные дома? Если бы не Володя, я бы давно потеряла надежду.

Ему бы — хоть крошечку зрения, света в глазах. Ей — хоть капельку силы в мышцах.

Услышав о каком-то препарате в Италии, якобы облегчающем неизлечимую болезнь Тамары, Володя запросил по депочке итальянских радиологов, те обещали узнать все возможное. Он и в редакцию написал, узнав о методике доктора Васильева, вроде бы дающей в некоторых случаях излечение от этой болезни.

Неистовая, невозможная эта надежда. Но ведь невозможно по всем нашим меркам и то чувство, которое бьется постоянной светлой жилкой в тонком телефонном проводе между двумя домами, между двумя отрезанными друг от друга людьми. Утверждая так естественно и ежеледно, что человек — это все-таки дух. Душа. И что это — очень много. Небедимо.

Я еще не знаю, уместся ли нам, теперь уже троим, пробиться к доктору Федорову, к доктору Васильеву, и есть ли хоть тень надежды... Но я знаю, что каждый вечер, набрав код дальнего города, я неизменно услышу бесконечную морзянку.

И пока она звучит, эта морзянка, нам еще, ей-богу, есть на что надеяться.

О. МАРИНИЧЕВА.

МАРИНИЧЕВА О

МОРЗЯНКА

Среди мучительных «кто виноват?» и «что делать?» не забыть бы нам самое главное: как найти путь друг к другу?

в виду не только ее статьи, рассказы, повести, стихи, но и нечто более глубокое: светлый дар жизни — особый, редкий талант жить светло, радостно и чисто.

Свою журналистику (горы пухлых папок со статьями в районной, областной, центральной печати) и все сочинительство в целом Тамара легко и бесечно определяет одним словом: «писанина». «Не писанина, а творчество!» — то и дело строго поправляет ее Володя.

— Володя — он совсем особенный, — с тихим изумлением говорит Тамара. — Мне и люди о нем говорят: божественный человек!

...С двух лет Володя ничего не видит: катаракта. А тело исковеркал полиартрит, вгрызаясь жгучей болью. Тонкие седые волосы, зачесанные назад со лба. Тонкая, подвижная кожа на ясном лбу — вот и вся мимика. Лицо, застывшее в тихом сосредоточенном раздумье. И эта особенная, как у музыкантов, тонкость кончиков пальцев, их легкого касания к предметам во время разговора. Жестко скрюченные пальцы с чутким, тонким касанием.

...Простите мне, друзья мои, красивые, прекрасные друзья мои, что я описываю то, что таит в себе для «нормальных», здоровых людей печать безобразия, уродства. Но ведь эта статья — наш с вами вызов подлинному — духовному уродству и безобразию.

Месяц назад они все-таки встретились. Друзья с трудом погрузили их в машину и отвезли обоих на «огонек», устроившийся обществом инвалидов. Их, правда, куда не звали — тяжелые инвалиды, вроде Тамары и Володи, обществу этому не очень-то нужны. Слово даже для них придумали особое: «валежник». Собрались же, как Тамара говорит, «бравые дедули», и разговоры у них были сплошь о пайках. Весь вечер они сидели рядом. Весь вечер Володя держал в руке ладонь Тамары. «Представляю, как на нас смотрели все вокруг. А, думаю, пусть смотрят!» И не отняла руки.

А она запомнила каждую жилку, каждую морщинку,

мике встретиться, а бы тогда и другие приспособления сделал. А то вот умыться сам не могу». Прослышав об особой коляске для инвалидов на Западе, которая и причесать человека может, и дать ему закурить, одобрително отозвался об умной машине: «Вот сервис!»

Наши же инвалиды привыкли выживать — сами.

Несколько минут сложно балансирования на краю кровати — и ватник с трудом, но вдевается в рукава (мамина помощь всегда твердо и решительно отвергается). Покачавшись на костылях, зацепляет со стула шапку, точным броском забрасывает ее на голову (для обычных, плавных движений возможности нет. Руками работает скорее, как крючьями). Еще два-три напряженных броска на костылях через порог комнаты — и можно закурить на балконе. Невидящим лицом — в сторону Тамариного дома. Резкий профиль смягчается, сбрызгивается только упомянуть ее имя.

Что я знаю, что я могу понять в священной тайне этого общения, этих длительных часов телефонных свиданий?

Она стала его глазами. Вернее, их общими глазами. «Мы ведь — единый организм», — говорят они оба. Часами читает каждый день ему Солженицына, Замятина, Ахматову. «Ему сутками можно читать!» Литература для слепых ведь крайне скупа и вовсе далека от тех открытий, которыми живет ныне «зрячее» общество. Да и эти скудные крохи выписать почти невозможно: почта отказывается носить на дом толстые книги, написанные по Брайлю, — то есть на больших листах, утыканных точечками.

Сейчас вот у них на очереди Библия, Екклесиаст.

— Володя верит в какую-то другую жизнь — я, говорит и там тебя найду. — Тамара с некоторым сомнением поглядывает вверх, в белый потолок. — И что там будет очень хорошо! Мы с ним пришли к выводу, что в ад-то не должны вроде попасть: никого не убили, себя не убили. В рай, может, тоже не пустят. Ну, может, опять сю-

что сейчас так же могут затаскать религию. А это наш последний охранительный резерв.

Володя продолжает неторопливо:

— Казалось бы, вот такие, как я, как Тамара, — зачем мы вообще-то есть? Что это: кара человечеству или защита? Защита «избранных», чтобы они не могли грешить в свойственных обычному человеку размерах? Или чтобы дать им шанс сосредоточиться на постижении себя и жизни и что-то привнести в общий разум? Ведь есть ноосфера, и я верю: ни одна мысль, если она глубока, не пропадает даром, усваивается всеобщим разумом — и каждый может хотя бы на миллиметр сдвинуть мир в лучшую сторону.

— У него такие адские постоянные боли, не представляю, как он и держится, — объясняет Тамара. — А сам говорит: может, я столько боли перетерпел, чтобы хоть кого-то от этой боли освободить? Может, и тебя тоже? По вечерам он читает ей свои стихи:

...На свете так мало
любимых —
За них я тебя люблю.
Так мало сердечно
хранимых —
За всех я тебя хранию...
Но ты лишь одна завещана
Пожизненности строки.
Прости, дорогая женщина,
За жизнь без тебя. Прости!
А в ответ — встречной волной —
несутся легкие, радостные
Тамарины строчки:
Хочешь — алый уголек,
Солнца маленький кусочек?
Подарю — совсем не жалко,
Только не тав подарка.
Подари его другому —
Пожилую, молодому,
Подари, кому печально —
Вот увидишь, полегчает!
Ей порой говорят: «Тебе
легко быть доброй, ты в
четырех стенах сидишь, не
видишь, как народ озлоблен».
И она сокрушенно кивает,
чувствуя себя чуть ли не
виноватой за свою незлоблен-
ность, за неистребимую веру
в доброту и любовь людскую.
Но, может, все-таки про-
стим им, что они — лучше
нас?

Володя, сетуя на то, что